



МИХАИЛ
ДЫНКИН

Дом
Фауста

Сочинения
М. Динкина
Т. 1

Михаил Дынкин

Дом Фауста

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=60241963

Дом Фауста: Водолей; Москва; 2018

ISBN 978-5-91763-435-7

Аннотация

Михаил Дынкин родился в 1966 году в Ленинграде. Ныне живёт в городе Ашдод (Израиль); работает картографом. Публиковался в «Знамени», «Зарубежных записках», «Волге» и других журналах. «Дом Фауста» – четвёртая книга поэта.

Содержание

Дом Фауста	7
«говорить и не о чем и не с кем...»	9
Гостиная предчувствие снега	10
«В предчувствии снега ты станешь светлей и колючей...»	10
«Он держал её за руку, даже когда засыпал...»	11
«Жили порознь, а думали – вместе...»	12
«Она скользила по оси абсцисс...»	14
Дачное	16
«Из пункта А выходит поезд...»	17
Мячик	18
Окурок	20
«Спасало, что есть зажигалка...»	21
«Снег под руку с дождём идёт по голым паркам...»	22
«Снег падает (хоть это он умеет)...»	23
«Чем нравилась осень? Да как-то, ты знаешь, ничем...»	24
Детская–1	25
«видишь, в небе изумрудном, под рубиновой звездой...»	25
«Мальчик ждёт. Чего он ждёт? Мальчик сам не знает...»	26

«А на длинной верёвке сушилось бельё...»	27
«Ты примус починял, когда вошли команчи...»	29
«Ты живёшь, не имея ни силы, ни воли...»	30
«Студенты едут в университет...»	31
Молодость	32
Окно	33
«Бывало, в детстве мать поставит в угол...»	34
Велосипед	36
«Я помню тихий зимний день, Марина...»	37
«За школой начинались пустыри...»	39
Щегол–2	40
«Только детские книги, и те...»	41
Детская–2	43
«Старый Дональд Дак покидает Фейквилль...»	43
«Сидели козы, размышляли козы...»	45
«Служил Гаврила банкоматом...»	46
«Было у старика три сына: старшой – живой...»	48
«Ехал Ваня на сером волке...»	49
«Плавал Ваня на печи по реке...»	50
Дурачок	51
Деревня	52
«Потемнели листья виноградные...»	54
«Где два волка – степной и морской...»	56

Медведь	57
«Как сплавливались мы на плотах от истока к устью...»	58
«Если долго идти по следу ночного зверя...»	59
«День закончился, не успев начаться...»	60
«Все дороги, Бильбо, приводят в Мордор...»	61
Алиса в стране чудес	62
«Возвратился из странствий пропитанный горечью ветер...»	64
Подвал	65
«Остаются кротовые норы дневных сновидений...»	65
«Они сидят, колени плотно сжав...»	67
«Я был последним в списке кораблей...»	68
«Над страной лотофагов летит истребитель парфянский...»	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Михаил Дынкин

Дом Фауста

© М. Дынкин, 2018

© М. и Л. Орлушины, обложка, 2018

© Издательство «Водолей», 2018

Дом Фауста

Говорят, дьявол отправил Фауста напрямиком в ад. Душа чернокнижника вылетела через потолок, оставив в нём дыру с обугленными краями, которую ещё долго не могли заделать. Позднее в доме Фауста химичил (вернее – алхимичил) Эдвард Келли. Об Эдварде Келли (и, соответственно, о Джоне Ди) я прочёл всё, что только можно прочесть: варианты биографии, романы (Майринк, Акройнд), книги по енохианской магии. И, конечно, ни в одной из версий гибели этого загадочного человека дом Фауста даже не упоминается. И всё же каким-то удивительным образом две смерти – Келли и Фауста – смешались у меня в голове, то есть я почему-то решил, что в преисподнюю отправился именно Келли, и случилось это в том самом доме. И как только я это решил, моё сознание отсекло всю противоречащую ошибке информацию. В итоге лет двадцать я пребывал в некой параллельной реальности, где умирающий Фауст перевоплотился в умирающего Эдварда Келли.

Что касается дома Фауста, я видел его своими глазами. Это было чудесной пражской осенью, в 2003 году. Я приехал в Прагу со своей второй женой, которую очень любил. (Пройдёт несколько месяцев и наши отношения начнут рушиться, но той осенью я был почти счастлив.) И вот, в один

из дней мы отправились к дому Фауста. Я попросил пожилого, благодушного на вид чеха подсказать нам дорогу. Оказалось, что чех учился в России и неплохо говорит на русском. В общем, чех вызвался нас проводить. Мы дошли до дома Фауста, где и распрощались. Выяснилось, что в доме Фауста теперь аптека и медицинская лаборатория (да, собственно, не «теперь», а сравнительно давно). Всё, что мне оставалось, это кружить вокруг и заглядывать в окна.

И вот – и это самое странное в моей истории – я увидел совершенно пустую комнату, стены с отслоившейся краской, опрокинутую на пол лестницу и дыру, дыру в потолке, дыру с обугленными краями. Ту самую, через которую дьявол отправил Келли в ад. Хотя на самом-то деле в ад отправился

Фауст. И нет, мне не примерещилось. Возможно, помещение ремонтировали (самое разумное объяснение), но дыра в потолке была такая, какой она и должна быть, такая, какой я её себе и представлял. Да и не в потолке дыра, а в самой реальности – до головокружения ненадёжной – подменяющей на своих шахматных досках одни фигуры другими; изымающей из сознания всё, что помогло бы нам обнаружить подмену.

«ГОВОРИТЬ И НЕ О ЧЕМ И НЕ С КЕМ...»

*говорить и не о чем и не с кем
ветерок колеблет занавески
под густой соседский матерок
и как будто льбится сурок
что ни день
на жизненном отрезке*

*не о чем и не с кем говорить
метроном отсчитывает ритм
Боже, ты зачем меня оставил? —
человечек маленький и старый
повторяет, плачет и горит*

*только Бог ему не отвечает
Он и сам печален и случаен
одинокий, маленький такой
в общем, зря его не беспокой
лучшие окна от греха закрой
разверни газету, выпей чаю*

Гостиная предчувствие снега

«В предчувствии снега ты станешь светлей и колючей...»

В предчувствии снега ты станешь светлей и колючей,
душа истончится, а тело проснётся летучим.
И выпадет, будто счастливый билет лотерейный,
смешная фигурка в каракулях чёрных деревьев
под нашим окошком, во мраке промозглом плывущим,
в предчувствии снега, в преддверии вьюги грядущей.
Что делать мне с этим? Я сам проседаю и мёрзну;
не соты и сети – скорее, пустоты и звёзды,
не губы и руки, всё чаще – узоры, кристаллы...
В предчувствии снега обнимемся мы и растаем,
и снова воскреснем, и в вихре закружимся страшном
то порознь, то вместе над городом, быть переставшим.

«Он держал её за руку, даже когда засыпал...»

Он держал её за руку, даже когда засыпал.
Так любил, что боялся разжать онемевшие пальцы.
А любовь, что Фортуна, изменчива, вздорна, слепа.
Всё стоит над душою, вставай, говорит, просыпайся.

Ей хотелось свободы, а где ту свободу возьмёшь,
если этот болван повеликой тебя оплетает.
Ненавидела так, что посмотрит на кухонный нож
и мечтает о том, как... Хорошее слово «мечтает»,

но не в этом контексте. А боязно всё же уйти:
сорок с хвостиком, знаешь ли, дочка-подросток,
квартира...

А как выпустил руку – прости, причитала, прости.
Так любила его, что и мёртвого не отпустила.

«Жили порознь, а думали – вместе...»

Жили порознь, а думали – вместе.
Пролагали нехитрый маршрут.
Посещали воскресные мессы,
соблюдали шаббат и кашрут.

Или то, скажешь ты, или это;
что-то автор рассеянным стал,
словно вышел за рамки сюжета
или смотрит в волшебный кристалл.

А в кристалле чего не бывает,
а в кристалле не видно ни зги,
разве только снежинки летают
в пустоте, да и те из фольги.

Но случается тихое утро,
и по светлой окружности снов
часовая спешит за минутной,
а минутная валится с ног

и ложится мечом между ними
под будильника хохот и свист...
И садится спиной к героине
ошарашенный протагонист.

Всё пытается взять себя в руки
(худо-бедно, а в брюки он влез)
и, впечатан в сетчатку старухи,
покрывается инеем весь.

«Она скользила по оси абсцисс...»

Она скользила по оси абсцисс —
невидимой, однако достоверной,
над крытою верандой, если вниз
взглянуть. Потом над улицей – примерно
в двух с половиной метрах от земли,
смущая припозднившихся прохожих...

И выходил из гавани зимы
пустой трамвай и плыл ошую то же.
И одесную расступался сквер;
там тополь левитировал облезлый.
И падал снег (и был он тёмно-сер)
и пальцы отмораживал болезный.

Сомнамбулой, лежащей на спине,
покачиваясь на волнах воздушных,
глаза открыла женщина, но не
заметила прижатое к подушке
лицо, принадлежащее кому?
Любовнику, супругу, незнакомцу?
Ему же снилось – он идёт к окну
и валится, сворачиваясь в кольца;
становится узорчатой змеей,
окутанной пьянящей дымкой серной.
И параллельным курсом под землёй
перетекает в мир четырёхмерный.

Дачное

Шмель летит или толстая пчёлка,
нарезает круги над Вечоркой.
На Вечорке варенье стоит —
земляника, открытая банка.
Забирается в будку собака,
мордой в лапы уткнётся и спит.

Комары позудят и отстанут.
Игроки, накурившись, расставят
офицеров, царей и солдат
на доске чёрно-белого мира,
и затикает солнце, что мина,
превращаясь в багровый закат.

Во второй половине июля
жизнь прекрасна и воздух из тюля,
а едва упадёшь на постель,
заскулит заполошное эго,
ослеплённое яркостью снега,
оглушённое лязгом костей.

«Из пункта А выходит поезд...»

Из пункта А выходит поезд
и едет в некий контрапункт.
Так начиналась эта повесть,
которую сочти за труд
прочесть, а впрочем, нет, не стоит.
И так всё ясно: поезд, ночь.
Мужик, уставший от историй,
на нижней полке (ты точь-в-точь)
покачивается, печален.
Напротив – девушка с веслом.
Они беседуют за чаем
о том, что умерли весной;
о том, как ждали на вокзале,
в руках – пустые рюкзаки,
о том, какие под глазами
бывают страшные круги...
Что ж, мы и сами умирали,
дрожали, сидя у окна.
А поезд мчался по спирали
из контрапункта в точку А.

Мячик

Шёл, фонари считая, думал:
на пятом Таню обниму.
А Таня притворялась дурой,
хотя и сохла по нему;
изображала недотрогу,
косилась в сторону... Но вот
сидит и смотрит долго-долго
на округлившийся живот
в своей квартире на Софийской,
идёт на кухню, пьёт кефир;
ждёт мужа – усики и фиксы,
а в голове всё тот же фильм
прокручивают что ни сутки:
подъём, автобус, служба, дом...
Он ненавидит эту суку,
кладёт под жало валидол;
тоскует, выгнувшись в кровати
монументальной запятой.
В четверг – серебряная свадьба,
рукой подать до золотой.
Два внука – девочка и мальчик.
Два серых старческих лица...

Смотри, как тонет в речке мячик,
как он захлёбывается.

Окурок

Зажигалка, затяжка, дымок струёй...
Птичий город летит, голоса.
Кучевые чернильными монстрами
пожирают замешкавшихся.
Пляшут тени в окне занавешенном.
Собирается с силами дождь.
Если хочешь, добей пересмешника,
но не радуйся, если добьёшь.
«Это небо, оно не для чайников», —
говорит неофиту аскет.
Сигарета утешит молчальника,
превратится в бычка на доске.
Он стоит на краю, обливается
смертным потом, боится упасть
в облетевшей листвы усыпальницу
или в урны зловонную пасть.
Красноглазый, с лицом перекошенным
заметался в давилъне подошв...
Если можешь, добей своё прошлое,
но не жалуйся, если добьёшь.

«Спасало, что есть зажигалка...»

Спасало, что есть зажигалка,
что куришь назло докторам;
что ангелов быстрые галки
мелькают в глазах по утрам.
Зияние, звон и горенье —
всё тонет в глубоком дыму,
как будто испортилось зренье,
но зрение нам ни к чему.
Послушные третьему глазу,
на гребне воздушной волны
смыкаются клёны и вязы
то с этой, то с той стороны.
Их ветви похожи на вёсла.
Их ветер качает навзрыд
под тёмной небесною бронзой
среди альбатросов и рыб.
И вот, нарочит и халтурен,
толчками, но льётся же свет.
А умер ты или не умер,
по-моему, разницы нет.

«Снег под руку с дождём идёт по голым паркам...»

Снег под руку с дождём идёт по голым паркам.
Качают тополя незримых грудничков.
Унылая пора, слепая санитарка:
ни пуха, ни пера за стёклами очков.
Ни пуха, ни пера, ни ясности, ни цели.
И это хорошо, что цели не ясны;
что вот она – зима, в чьём ледяном лице я
читаю приговор, досматривая сны
чужие, ну и что, мне нравятся чужие —
в них неудобно жить, но умирать легко;
здесь тот же мокрый снег, глаза его большие,
текущие дождём сквозь пальцы двойников.
Я наугад войду в один из снов вакантных
и встречу двойника с дождём наперевес.
Он выдохнет, вдохнёт и скажет, вероятно,
что весь я не умру, но я хотел бы – весь.

«Снег падает (хоть это он умеет)...»

Снег падает (хоть это он умеет),
лежит и ничего не понимает;
и видит длинный ряд пустых скамеек,
замёрзший сквер, коробочки трамваев.
Ползёт аллеей, обдирая локти,
спускается к реке обледеневшей;
о головокружительном полёте
вздыхает, как вздыхает потерпевший.
Потом кричит, лишённый дара речи,
поскольку знает, что через неделю
окрепнет солнце, дрогнет лёд на речке,
и с этим ничего нельзя поделать...
Твердеют крылья, превращаясь в корни.
Снег замирает, быстро обессилев,
и видит сон короткий беспокойный —
рой белых мух на фоне чёрно-синем.

«Чем нравилась осень? Да как-то, ты знаешь, ничем...»

Чем нравилась осень? Да как-то, ты знаешь, ничем.
И если подумать, то лето не нравилось тоже.
Там падают листья, ворона сидит на плече.
Здесь – солнце в зените, купальщиков красные рожи.
Вот зиму любил, непонятно за что, но любил.
В России снега, а в Израиле – мощные ливни.
Как будто архангел над сонной Землёй вострубил,
как будто бы демон её поднимает на бивни.
Не можешь согреться, проходишь все стадии сна
под пасмурным небом, к груди прижимая будильник,
а прямо по курсу стоит великанша-весна:
цветастое платье и яблоки глаз молодильных.

Детская–1

Щегол

**«видишь, в небе изумрудном,
под рубиновой звездой...»**

видишь, в небе изумрудном, под рубиновой звездой
человек гуляет круглый с треугольной бородой
или, может, это ящер в пышной юбке из хвошей
с попугаем говорящим на чешуйчатом плече
или даже серый котик, или чёртик кучевой
надувающий животик – тоже не исключено
потому как всё бывает, всё сбывается, родной
может, он во сне летает, человечек с бородой
или ящер с попугаем, или чёртик на коте
херувимчиков пугая погремушкой на хвосте

«Мальчик ждёт. Чего он ждёт? Мальчик сам не знает...»

Мальчик ждёт. Чего он ждёт? Мальчик сам не знает.

За окном горит закат – красен, языкат.

Разворачивает сквер золотое знамя.

На балконе крепко спит верный самокат.

Мальчик курит. Мальчик пьёт. Травится и травит
окружающих, но как вытравить тоску?

Есть у мальчика дружок – крот, носящий траур,
и ещё один дружок – престарелый скунс.

Первый слеп, второй вонюч, ну а люди лучше?

У крота в подвале ключ, а у скунса – дверь.

А за дверью ждёт тебя твой счастливый случай
и богатая вдова, может, даже две;

лимузины, яхты, счёт в марсианском банке...

Ладно, мальчик говорит, где там ваш портал?

Чёрт везёт его домой, усадив на санки.

Он ещё и не таких мальчиков катал.

«А на длинной верёвке сушилось бельё...»

А на длинной верёвке сушилось бельё.
А поддатый сосед говорил «ё-моё»,
добавляя про мать et cetera
(ударенье сместилось, но это ничо).
А сомнительный ангел, садясь на плечо,
предлагал покурить и гетеру.

Да, какая гетера в двенадцать-то лет!
Помню, был у меня водяной пистолет,
оловянный солдатик нестойкий;
Жигулёнок и Волга один к сорока...
Помню, был я ребёнком, не знавшим УК.
Значит так – сигарету и только.

И тогда ангелок доставал портсигар.
Мы дымили в окошко, к иным берегам
отплывали на судне пиратском.
И не важно, что судно тонуло в снегу —
я полжизни торчу на ином берегу,
сам с собой не могу разобраться.

Не могу разобраться с собой вообще.
И не ангел, а ворон сидит на плече

(а наклюкавшись, делает стойку).

Говорит «ё-моё», добавляет про мать,
предлагает гетеру... Да что с него взять?
Значит так – сигарету и только.

«Ты примус починял, когда вошли команчи...»

Ты примус починял, когда вошли команчи,
обвешанные скальпами, и вождь
сказал: «Ну что ж, тебя в живых оставим, мальчик,
но примус заберём и папу с мамой тож».
А мальчик фанател от фильмов про индейцев,
а мальчик умолял: «Возьмите и меня!»
Но прочитал в глазах шамана: «Не надейся!» —
и не заметил, как девятый разменял
десяток или что разменивают люди,
когда болит спина и дубль зеркальный злит;
и даже если ты свободен от иллюзий,
добавочных свобод сюда не завезли.
И только по ночам, во сне цветном и вязком
ты мать опознаёшь в ещё не старой скво,
и видишь, как отец летит в шаманской пляске
над трупами врагов, вигвамом и костром.
Там скальпы напрокат и горизонт на вынос,
там маленький дикарь, оставшийся тобой,
сидит в густой траве и починяет примус,
он в бой хотел, но вождь сказал: «Slow down, boy».

«Ты живёшь, не имея ни силы, ни воли...»

Ты живёшь, не имея ни силы, ни воли,
лишь идёшь себе под материнским конвоем
по ветвистым туннелям отцовского сна.
Отражаешься в зеркале (правда, отчасти).
Держишь за ногу синюю птицу несчастья;
птица злится и жалит тебя, как оса.

Ты кричишь. Просыпаешься старым, опухшим.
Не поймёшь, что стряслось. Отправляешь за кружкой
привидение няни, а кружка-то вот:
разлеглась на диване – устала, наверно...
Возвращается няня с бутылкой портвейна,
говорит, что с девичества здесь не живёт.

Не живёт вообще, ибо всё это майя,
даже ты и твоя энергичная мама,
городская квартира, гигант-эвкалипт
в законном пейзаже, что рад развалиться...
Остаётся лишь чёртова синяя птица,
да и та, как присмотришься, еле стоит.

«Студенты едут в университет...»

Студенты едут в университет,
сидят в аудиториях, мечтают.
Сквозь бреши окон прибывает свет,
слепит студентов, мысли их читает.
Он тоже был прекрасным, молодым —
давным-давно, ещё до трилобитов;
окутывал порталы чёрных дыр,
сиял во тьме и воскрешал убитых
в междоусобных войнах нефилим...
Теперь он стар и многого не помнит.
Смеясь, студенты следуют за ним,
точней сказать, преследуют упорно
по улицам, свернувшимся в клубок.
Свет набирает скорость, ускользает.
Он знает эти игры назубок.
Студенты только думают, что знают.

Молодость

ещё восьмидесятые шумят
перевалив за собственный экватор
и ходят депрессивные трамваи
(им как-то больше нравилось в депо)
и ты стоишь в немыслимой варёнке
у кооперативного киоска
и куртуазно куришь Беломор
и безобразно скалишься при этом
худой брюнетке в дырчатых чулках
а в голове грохочет перестройка
и сессия считай что на носу...

преподаватель скажет: это двойка
и ты очнёшься в сумрачном лесу

Окно

Окно в любую сторону могло
открыться; стоя посреди двора, в двух
шагах от цилиндрической ракеты,
перевозившей Павлика на Марс,
а Свету со Снежаной на Венеру,
оно такие вытворяло штуки,
что лучше не смотреть, но ты смотрел.
Ты – кролик, зачарованный удавом,
а может быть, один из четырёх
драконов-попугаев, пролетевших
над озером из пурпура... Нет, ты —
старик с лицом, похожим на алоэ,
бредущий сквозь метель из мотыльков
под куполом воздушно-паутинным...

И дни тянулись вслед за стариком
и время скарабеями катили.

«Бывало, в детстве мать поставит в угол...»

Бывало, в детстве мать поставит в угол,
а ты и рад стоять в глухом углу,
обнять воображаемого друга,
вовлечь его в волшебную игру.
Едва заметны паутинки трещин,
но за любой скрывается портал.
Там города крылатых синих женщин
и крупного рогатого скота
(мужчины это или не мужчины,
скорее, черти в образе быков).
Там катятся по дну сырой лощины
колёса лун. И чёлка облаков
клубится над глазами херувима
(о херувимах ты тогда не знал).
Там снежный Овен вышел из овина
и смотрит в херувимовы глаза.
Вы орка выводили на прогулку
и пили виноградное вино;
крошили ароматнейшую булку
крылатым дамам (смотрим выше), но
спугнул воображаемого друга
волчок кошмара, впившийся в бочок:
мать в комнату, а там, забившись в угол,

пускает слюни ветхий старичок.

Велосипед

В зоре меж реальностями, помнишь,
ржавел под ливнем твой велосипед.
И шустрый вор седлал его, не пойман,
крутил педали и речную поймой
катился, заключённый в тусклый свет.

Ты пожимал плечами: мол, не жалко.
Тебе сказали – это только сон,
где мать с отцом и старая служанка
бредут под майским ливнем по лужайке.
Ты видишь их наборы хромосом,

их мысли потаённые, их смерти;
зовёшь домой, но где теперь твой дом?
А вор всё едет на велосипеде,
не замечая, кажется, что едет
по дну реки, стоящему вверх дном.

«Я помню тихий зимний день, Марина...»

Я помню тихий зимний день, Марина.
За окнами покачивались мерно
замёрзшие берёзы-тополя
и уходили линией неровной
за горизонт, и что-то говорила
математичка Клавдия Петровна
и плакала немного погода,

за партой сидя, ученица смерти,
пока мы, воровато озираясь,
курили папиросы за углом
приземистой, в снегу увязшей школы.
Я помню, как любил тебя, Марина.
Ну, не любил, а вождедел, наверно,
в свои семнадцать девственник и гном.

Идти, что гладить ветер против шерсти...
– Вот только не цитируй Евтушенко.
– Марина, это ты сейчас о чём?
Она уходит в чёрные деревья.
Вся жизнь уходит в чёрные деревья.
И плачут, плачут Клавдия Петровна
и ангел смерти за её плечом.

«За школой начинались пустыри...»

За школой начинались пустыри,
где вы играли в «море раз-два-три,
замри, умри, убейся, успокойся».
Ты точно помнишь: первым замер Костик
с членистоногой немочью внутри.
Наташа вышла замуж, вышла в сад
в предместье Карфагена или Сард.
Сама не знает, что случилось с нею,
каким маршрутом двигаться назад;
где муж её, и что так тянет слева.
Наташи нет. Она лежит пластом
в реанимационном. Море, стоп!
Не слушается, едет автостопом
перед глазами Толика, он столько
на свадьбе выпил, что покинул строй.
Все замерли. Остался ты один.
Лес изваяний толиков и дим,
наташ и надь в кольцо тебя берёт и,
прорвав его, ты едешь на работу
под детский крик: «Води, Вадим, води!»

Щегол-2

Веришь, нет, но они возвращаются.
Пешка Митрича съела ферзя.
Продавщица когда наклоняется,
видишь то, что не видеть нельзя.
Доведённый до точки кипения,
что твой разум ещё сотворит?
Взяв пол-литра, сдуваешь ты пену и
сочиняешь себе афродит.
Тополь огненный, дворик покоцанный,
вереница раскрашенных дев.
Забиваешь на синус и косинус,
равнобедренность эту узрев;
эти... Ладно, не будем о грустном, блин.
Горький лук выпуская из рук,
Купидон налегает на гусли, но
до чего отвратительный звук
раздаётся, как если б отчаявшись,
ты в подушку кричал и кричал...
Веришь, нет, но они возвращаются,
чтобы мучить тебя по ночам.

«Только детские книги, и те...»

Только детские книги, и те
не хочу раскрывать, если честно.
Только молча сидеть в темноте,
не сходя по возможности с места.
Только слушать: гудят провода,
листья с криком катаются в корчах,
и бежит дождевая вода
по дрожащей трубе водосточной.

Только детские книги, ага.
Начитался всерьёз и надолго.
Бьёт в избушке садистка Яга
кочергою несчастного волка.
Спит царевна в хрустальном гробу,
а проснувшись, на веник садится,
вылетая в такую трубу,
что гневой каменеет под принцем.
Надавали Емеле лещей:
«Вот тебе говорящая щука!»
И хохочет за лесом Кощей,
смертоносные иглы нащупав...

Помнишь, мама, в далёком году
был я тощеньким злобным волчонком?
Всё качался в глубоком аду

на качелях, придуманных чёртом.

Детская–2

На сером волке

«Старый Дональд Дак покидает Фейквилль...»

Старый Дональд Дак покидает Фейквилль;
проезжает мимо картонной церкви,
Дома Аниматоров и кафе,
бутафорских дворишков, птицеферм,
огородов частных, полей общественных...
Дональд Дак – несчастный больной мужчина.
Посмотри, как бледен он и клюваст.
Горожане, Дональд устал от вас.

Он приедет за полночь в Disney Center
и возьмёт своё, да ещё с процентами.
И не в анимации – наяву
разнесет Уолту он голову.
Стиснут Глок покрытые пухом руки.
Доктор Глок врачует любые глюки;
просто замечательный пистолет —
кашлянул и Фейквилля больше нет.

Дональд Дак заводит машину снова.
Едет мимо клоуна постового,
мимо микки-маусов и котов,
белоснежек, гномов и их кентов.
Все они покойники и подонки.
Дак глядит на карту, находит Догвилль.
Подпевает Элвису, жмёт на газ.
Никуда не денетесь, мистер Ларс.

«Сидели козы, размышляли козы...»

Сидели козы, размышляли козы,
точнее, медитировали в позе
дракона, созерцали мандалу.
А сам дракон козлѐнка съел и выпил,
да перебравши, из бойницы выпал
и рухнул в море, и пошѐл ко дну,
но вынырнул, и вот – решил поплавать.
А рыцарю совсем отшибло память,
когда его ударили щитом
разбойники из Колдовского Леса...
Вообще-то он хотел спасти принцессу,
но посчитал спасение тщетой;
послал всех на хер и ушѐл в монахи.
А мойры – или это просто пряжи —
наложницы по правде говоря,
мозги служанкам пудрили в гримѐрке;
одна из них царю рожала орков,
но в этой сказке не было царя.

«Служил Гаврила банкоматом...»

Служил Гаврила банкоматом
для хитрой маленькой жены.
Он сам себя забрил в солдаты
и сжёг последние жиры
в боях под городом Неровно
(сплошные ямы и бугры),
когда воздушные паромы,
согласно правилам игры,
сопровождал на дирижабле.
А как окончилась война,
стал кавалером Алой Жабы,
вольноотпущенником на
четыре стороны, но это
излишне, если напрямик.
Вооружённый пистолетом,
Гаврила – правильный старик —
в ушитом дембельском камзоле,
так под Неровно и осев,
несёт отборных инфузорий,
размером с взрослых карасей
на местный рынок. Глянь, как бойко
идёт торговля в наши дни,
и волосатую ладонь-ка
за новой дозой протяни.
Ты тоже был железных правил,

служил в Неровно палачом,
не уважать себя заставил
и не жалеешь ни о чём.

«Было у старика три сына: старшой – живой...»

Было у старика три сына: старшой – живой, средний – покойник, а младший – нестроевой. Или наоборот. Так ли, эдак, тоска берёт думать о том, как тот старик живёт. Значит, не нужно думать совсем-совсем. Да ведь и сыновей-то на деле семь. Мёртвые ли, живые – одно лицо. Это у них впервые в конце концов, чтобы на свет родиться и умирать. Сёстры зовут их: «Братцы, айда гулять!» Были, видать, и дочери у старика. Автор дошёл до точки. «Пока-пока!» — крикнул, на воздух вышел, вернулся. Упс, чуть не столкнулся с мышью, разбил графин. Смотрит, сидит на печке огромный пупс, пьёт из железной кружки чаёк-чифир. «Как тебя звать-то, милый?» «Меня? Илья!» «Где твои сёстры, братья, семь я, семья?» Пупс говорит: «Будь ласков, плесни чайку. Это другая сказка, а ты – ку-ку».

«Ехал Ваня на сером волке...»

Ехал Ваня на сером волке из сказки в сказку.
И в одной из сказок волк превращался в таксу.
А в другой сам Ваня волком был по сюжету.
Что ни утро, рядом с очередной жертвой
просыпался, кашлял кровью ли, акварелью...
Поначалу страшно, а потом параллельно.
А совсем в финале голос звучит за кадром:
«Ехай дальше, Ваня, даром что ты ликантроп».
Он и едет дальше, что остаётся делать?
А всего тех сказок, кажется, двадцать девять.
Я люблю шестую за тишину сплошную,
за бессобытийную беспредельность.

«Плавал Ваня на печи по реке...»

Плавал Ваня на печи по реке
за кощевой волшебной иглой.
Видел Ваня паровоз в тупике —
к лесу передом, к платформе углом.
Видел фермы овцеводческие
и колхозы хоть шаром покати.
Видел череп на зацветшем копье,
а под черепом – катал и кутил.
Так у Вани тяжело на душе,
что душа его вся в пятки ушла.
Станет плакаться в жилетки ершей —
набирают в рот воды кореша.
Скачет Ваня на железном горшке,
запрягает волновой паровоз.
Облетает у него на башке
вялый кустик побелевших волос.
И не парень он уже, а старик —
прячет скуку за усмешкой кривой.
Даже если на ногах не стоит,
ты на кончике иглы у него.

Дурачок

Вывел Ваня коня за деревню,
лёг в траву, закурил самосад.
В фантастических рыбах деревья
над Ванюшей, сверкая, висят.
Облаков проплывает армада.
Самолётик буксует в заре.
Возвращаются ведьмы с парада,
те на швабрах, а те на зверье,
занесённом в Прекрасную книгу,
всё листал бы её и листал:
волкодлаки, драконы, шишиги,
саламандра и дева-лиса.
Осыпают дриады Ванюшу
изумрудами ласковых глаз:
«Ты отдай нам бессмертную душу
и получишь любую из нас».
Страшно Ване, и странно, и в то же
время весело, зубы торчком,
бормотать: «Благодарствую, Боже,
лучше нету, чем быть дурачком».

Деревня

Там, на речке, придуманной кем-то,
ловят рыбу бухие кенты.

Пахнет воздух сырою плацентой.

Распускаются в небе цветы
голубые с зелёным отливом.

Дом на сваях бредёт по песку.

А внутри человек плешивый
рубит мясо любимому псу.

Неказистый совсем человек,
от горшка не видать ни вершка.

Пёс кладёт ему лапы на плечи,
валит на спину, дурья башка.

Есть другие, конечно, дома там:
в тех бранятся, а в этих молчат.

А на пристани чёрт бородатым
анекдотом смущает девчат.

Вылезают кенты из байдарки.

Перегаром разит за версту.

Затаились ликантропы в балке,
ждут, когда отлучится пастух.

«Третий год провожу как в бреду я
в этих гиблых местах... Без обид,
отпусти меня в город, колдунья!»

«Отпускала уже, – говорит. —

Ты уехал и сразу вернулся.

Сел на стул, покачал головой,
сам не свой – ни костюма, ни пульса.
Я заплакала, крикнул: не вой!»

«Потемнели листья виноградные...»

Потемнели листья виноградные.
Трижды выпал дождь из саранчи.
Толстые опричники прикладами
выбили всю душу из печи.
Вот тебе и небо карамельное,
небушко ванильное твоё.
Помнишь, мать звала тебя Емелею,
наполняла тазик до краёв?
Мыла, приговаривала, сыночка,
быть тебе наездником печным.
Где ты, мама, бабочка, кровиночка?
Отзовись, родная, не молчи.
У царя семь пятниц на неделе – он,
даже если милует, казнит.
Смотрит из окошка привидение,
вывалив раздвоенный язык
(не поймёшь – принцесса ли, кикимора).
Щука же ершонка потрошит;
наврала с три короба и кинула...

Видишь, мама, печка без души
ползает на брюхе каракатицей,
дыма околесицу неся,
а устанет – по наклонной катится?
Вот тебе и сказка, мама, вся.

«Где два волка – степной и морской...»

Где два волка – степной и морской
(вариант: мизантроп и ликантроп),
тот с цинизмом, а этот – с тоской,
ставят жизнь на краплёную карту,
ибо что в этой жизни, чтоб им
не поставить родимую на кон?
Бутафория, матрица, дым.
А на большее кот не заплакал.
Над оврагами стелется пар.
Горизонт заслоняя, клубятся
облака из овечьих отар.
Эти овцы волков не боятся.
Эти овцы, коварны и злы,
пастухов затоптали намедни.
А в деревне козлы не козлы,
но заблеяли, слышишь, к обедне.
Мечут вороны перья-ножи.
Выползает из логова кобра...
Спрячься, Серый, и карты прижми
поплотней к выступающим рёбрам.

Медведь

Ой да шёл я, куда не знаю, глаза пусты.
Видел кладбища и вокзалы, леса, мосты.
А была у меня одна, да спала со всеми.
А любила меня другая, забыл как звать.
Затянулась петля тугая, не разорвать,
да на шее, от пыли серой.

Вот пришёл я, когда не помню к кому домой.
Загулял в том доме по полной, очнулся – ой,
две зазнобы мои сидят, а глаза-то лисьи.
Я под стол, а они когтями меня из-под.
Так и клацают челюстями, тоска берёт,
как посмотришь на тёмно-красные морды-лица.

И одна говорит: «Мишутка, иди ко мне».
Может, это такая шутка, а может, нет.
А вторая то зубы скалит, то шкалик ставит.
А и сам я медведь медведем, твою же мать!
Выпил шкалик-то и соседей пошёл шмонать,
да споткнулся и повалился в густой кустарник.

«Как сплавлялись мы на плотах от истока к устью...»

Как сплавлялись мы на плотах от истока к устью.
Как искрилась вода на солнце, а ночью пела,
прячась в водорослях, русалка о светлой грусти,
только грусть не бывает светлой, а зависть – белой.
Я своими глазами видел и грусть, и зависть:
тело серое, руки длинные у обеих.
Как грозил нам пестом серебряным лунный заяц
по-над лесом тысячемачтовым, корабельным.
Только кто же его боится, зверька смешного?
А была у меня сестрица – Марина, Анна?
Вот нырнул я с плота и вижу – за тюлем шторы
бьёт хвостом по воде дивчина с лицом румяным.
Говорит: «Не тушуйся, братец, входи, не съем же», —
и хохочет, а у самой-то язык двоится...

Да не вру я! Подай-ка лучше ушицы свежей;
мне ещё не одну неделю по дну тащиться.

«Если долго идти по следу ночного зверя...»

Если долго идти по следу ночного зверя,
рано или поздно вернёшься к себе домой.
Правда, дом твой сто лет тому как ушёл под землю,
ну а что тебе не по нраву-то под землёй?
Зверь ломал кусты, продираясь сквозь лес кошмара.
Зверь ревел и выл и в тысячу труб трубил.
И не кислородом, а смертью твоей дышал он,
и сиял во тьме, потому что прекрасен был.
Ты держал ружьё, и пуля была, что отклик
на далёкий зов, гипнотический взгляд в упор.
Но скажи, земляк, какой из тебя охотник?
Но окстись, чудак, ведь это тебе не спорт...

И случилось всё, что не могло случиться;
ты пришёл домой и сразу же лёг в постель —
тело буйвола, а голова волчицы
да змеиный хвост с погремушкой из костей.

«День закончился, не успев начаться...»

День закончился, не успев начаться.
Ты как раз сходил на базар за счастьем,
попросил сто грамм, положил в пакет.
А пакет с дырой, ты и не заметил,
как принёс домой злой осенний ветер,
пожелтевший лист да вчерашний свет.

А жена твоя всё бранилась: «Дима,
лучше б я сама на базар ходила.
Не мужик, а чёртово решето!» —
и так далее. Даже если в чём-то
и права, она у тебя в печёнках.
Ты сказал: «Проваливай, а не то...»

И пошёл в кровать. И тебе приснилось,
что она воистину провалилась
сквозь вчерашний свет да на Страшный суд;
и стучит в окно ветер злой осенний,
а твоё лицо – жёлтый лист, в росе он
или это слёзы – уже не суть.

«Все дороги, Бильбо, приводят в Мордор...»

«Все дороги, Бильбо, приводят в Мордор, —
говорил мне старый волшебник Гэндальф. —
Свято чтят традиции в мире мёртвых.
Выходи из комнаты, отобедав.
Никогда обратно не возвращайся.
Не проси, поскольку предложат сами
тридцать три – стандартный набор – несчастья
и к нему подробное расписание:
что с тобой случиться должно, как скоро...
В мире мёртвых, Бильбо, полно инструкций,
нерабочих графиков, протоколов;
вместо Бильбо Бэггинса – сумма функций,
утверждённых цензорским комитетом
(беглый эльф, дракон и четыре орка).
Встань, когда беседуешь со скелетом!
А теперь садись, без сюрпризов только».

Алиса в стране чудес

Езжай, Алиса, в зазеркальный город.
Там мертвецы грустят в своих конторах,
выстукивая на клавиатурах
сухих дождей потусторонний ритм,
покуда ты у них на мониторах
сидишь с лицом осунувшимся старым
на двух рывках движущихся стульях;
один гарцует, а другой горит.

Порой они меняются местами...
Сопит Болванщик. Мышь больная стонет.
Над нею Белый Кролик вырастает,
опорожнив двенадцать пузырьков.
На каждом пузырьке на арамейском
написано: «Не пей меня!» – на резкость
наводишь – видишь черепа и кости,
но мало ли на свете дураков,

глотających направо и налево
любую дрянь. Простим ему, Елена,
преступную беспечность, Марианна...
Чеширский кот готовит антидот.
Палит в него из ружей полк потешный.
А как наступит редкое затишье —
улыбка, превращённая в усмешку,

сопровождает скверный анекдот

о со стены скатившемся Болтае.

Вот он лежит, обмотанный бинтами,
который день на койке госпитальной.

И санитар, похожий на Моржа,

заходит за прозрачные кулисы

и говорит: «Мы умерли, Алиса.

Произошёл программный сбой, Алеся.

Мне очень жаль. Мне правда очень жаль».

«Возвратился из странствий пропитанный горечью ветер...»

«Возвратился из странствий пропитанный горечью ветер.
Снились Ване русалки, дыши, говорили, дыши.
Родились у Агафьи красивые мёртвые дети,
полежали немного и на дискотеку пошли.
А случилось ещё – волкодав в волкодлака вцепился,
превратился в шерифа, теперь ковыляет на двух.
А в отверстой могиле сидит мореход-кровопийца,
погрузивший ладони в набитый костями сундук.
Под Кощеевкой снег серо-буро-малиновый выпал.
Вышел кот в сапогах из портала на Старой Морской.
А летучая мышь подружилась с болотной выпью.
А уволенный паж заявился в притон колдовской
и гуляет на все, только всех-то раз-два и обчёлся...
Жил на свете маркиз с погремушкой вместо башки;
что ни день покупал на базаре шампунь и расчёску —
типа **есть** голова, напрягите глаза, петушки».

Я сидел, вспоминая смешные и грустные сказки,
в старом кожаном кресле, пока за оконным стеклом
скараabei толкали мерцающий шар тёмно-красный
над поваленным лесом, над высохшим руслом стихов.

Подвал Ниневия

«Остаются кротовые норы дневных сновидений...»

Остаются кротовые норы дневных сновидений,
провалы казённых комнат,
огрызок яблока на потрескавшейся столешнице,
неверный свет в забранном решёткой окне.

Человек сидит в кресле, силится вспомнить, но что?
Тополиный пух летит старику в лицо,
мальчик чихает, мать ведёт его в зоопарк, смеётся.

Но в их городке не было зоопарка,
но мальчик рос в детском доме,
но старик не видел своих настоящих родителей
(и ненастоящих тоже не видел).

Остаются ложные воспоминания,
прозрачные стебли рук на подлокотниках кресла,
сиделка, похожая на Мойру,
Танатос, похожий на санитаря.

Остаётся меланхолический бегемот
в тополином пуху,
пятнистая башня жирафа,
чёрно-белые мячики панд.

«Они сидят, колени плотно сжав...»

Они сидят, колени плотно сжав.
Их головы мерцают в лунных нимбах,
тела на удивление прозрачны,
там снег, поля, железная дорога,
стремительные змеи поездов.

Они сидят, в себя погружены
настолько, что выталкивают дубли
(так Архимед выталкивает воду
из ванны или что там у него).
Всё происходит медленно и быстро:
сначала ты пускаешь пузыри
в сосудах сообщающихся комнат,
потом плывёшь по воздуху, идёшь
едва ли не по головам сидящих.
Они смеются (смех похож на клёкот),
претерпевают ряд метаморфоз.
То трилобита видишь ты, то крокус,
то морду тигра, то павлиний хвост.

«Я был последним в списке кораблей...»

Я был последним в списке кораблей —
смотри альтернативный (чёрный) список;
вёз на себе мешки с мукой и рисом,
ножи и пилы, лис и соболей.

Что греки мне и что мне Илион —
земля-фантом в мозгу слепого барда?
И всё-таки я плыл туда сквозь сон
на всех парах (в хвосте эскадры, правда).

Мне жуток грохот водяных столбов,
хотя, возможно, я и сам химера,
скользящая из головы Гомера
в иллюзион сознания Рембо.

«Над страной лотофагов летит истребитель парфянский...»

Над страной лотофагов летит истребитель парфянский,
исчезая с радаров made in Поднебесная, он
держит по ветру нос, в облаков замотавшись портянки,
раздвигая крылами воздушную толщу времён.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.